

А. С. Г Р И Б О Е Д О В

ЕГО ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ

В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Редакция и примечания Зин. ДАВЫДОВА

Издательство «КРАСНАЯ ГАЗЕТА». Ленинград. 1929

ВОСПОМИНАНИЕ О ГРИБОЕДОВЕ

Я никогда не воображал, что мне придется говорить в настоящее время о Грибоедове, хотя и мог сообщить многое о нем. Я полагал, что обнародование того, что мне известно, совершится только в таком случае, когда явятся в свет мои записки, что предполагалось не в близком еще будущем, — вероятно, не скоро даже и после моей смерти. Но вот, когда по поводу совершившегося пятидесятилетия со времени преждевременной кончины Грибоедова все стали говорить и писать о нем и я увидел, что и в рассказах, и в напечатанных даже статьях многое совершенно несогласно с тем, что мне достоверно известно, я пожелал прочесть и сверить с моими воспоминаниями все, по возможности, что до сих пор было известно об этом писателе, не желая наполнять свои записки излишними повторениями того, что было уже известным и без меня. Но не имея возможности все отыскивать самому, я, естественно, пожелал прочитать такое из последние-вышедших жизнеописаний Грибоедова, которое составляло как бы свод всего, что сохранилось о нем не только в печати, но и в предании; и мне указано было для этого на собрание сочинений Грибоедова, с предисловием, написанным профессором Веселовским.

Прочитавши предисловие, я увидел, что по недостаточности и ненадежности источников, по сбивчивости и противоречиям в преданиях, многое представлено в ошибочном

виде. Это, конечно, вина не профессора. Он мог извлекать сведения только из того материала, который был известен; но с моей стороны, коль скоро я увидел, что вещи вполне мне известные представлены не так, как происходили они в действительности, я счел уже своею обязанностью безотлагательно сделать замечания на все найденное мною ошибочным и указать на явные противоречия и несообразности в некоторых преданиях, затемненных и искаженных временем, присоединив такие дополнения, которые оказались необходимыми для связи и большей ясности.

Я был знаком с Грибоедовым в продолжение, правда, только очень короткого времени, но зато это время было самое критическое для него, самое важное и самое опасное; время, в которое он подвергался наиболее и искушениям, и испытаниям. Это было, именно, в исходе 1824 и в начале 1825 года; и затем я сидел вместе с ним в здании Главного штаба. Таким образом я был и свидетелем его сношений с членами тайного общества (мне не раз случалось и обедать и проводить вечер с ним и с главными членами у Одоевского), и, конечно, единственным лицом, с которым Грибоедов мог в здании Главного штаба говорить вполне откровенно и о последних событиях, и о своих отношениях к лицам, принимавшим в них участие, зная, что эти отношения мне и без того коротко известны.

Могу сверх того сказать, что Грибоедов сам искал знакомства со мною, так как и проезд мой из Калифорнии в Петербург, и таинственность, которая его окружала, наделали тогда немало шуму в Петербурге и возбуждали общее любопытство. В особенности же он желал познакомиться со мною еще и потому, что слышал будто я не похож на тех либералов, которых он преследовал своими сарказмами, которые, повторяя только заученные либеральные фразы, порицали других, а сами относились вполне небрежно и к служебным и к общественным своим обязан-

ностям. О мне же Грибоедов слышал, как и сам сказал это мне, рекомендуясь, что по свидетельству, и начальников, и сослуживцев, и товарищей, я всегда был строго исполнителен во всех моих обязанностях, делая даже более того, что имели право и могли от меня требовать, несмотря на то, что почти всегда я занимал не одну должность. Исполняя желание Грибоедова, его познакомил со мною один из его почитателей, Орест Михайлович Сомов ⁷⁴, у которого он часто бывал между прочим и потому, что у Сомова жил тогда Александр Бестужев, писавший в то время литературные обозрения, с которым поэтому Грибоедов был в частых литературных сношениях. Сомов же чрезвычайно уважал также и меня и выразил это при одном случае даже письменно и притом в таких выражениях, что это подало впоследствии повод к запросу ему из следственного комитета, так как в захваченных у меня книгах и картинах найден был перевод Сомова «Записок Вутье» (о борьбе греков против турок), с надписью переводчика на адресованном мне экземпляре: «Другу людей и истинно человеку», а между висевшими на стене картинами взят был и подаренный Сомовым же большой гравированный портрет Лафайета. Знакомство же мое с Сомовым произошло вследствие того, что я, принимая тогда большое участие в преобразовании, по моему проекту, управления колониями Российско-Американской Компании, почти ежедневно заседал в собрании директоров Компании и часто заходил по делам к жившему в доме Компании Сомову, который хотя и считался только помощником секретаря, но на деле был главным делопроизводителем, так как Рылеев ⁷⁵, исправлявший должность секретаря, мало занимался делами, на что, как и сообщает это Греч, частенько жаловались директоры; но сменить Рылеева не могли, потому что он пользовался покровительством Мордвинова, состоявшего в числе официальных покровителей Компании, и потому имевшего влияние на выбор и самих директоров.

Еще чаще виделся я с Грибоедовым у Александра Ивановича Одоевского, у которого Грибоедов даже жил (оба они, и Грибоедов и Одоевский, были в родстве с супругой И. Ф. Паскевича, урожденною Грибоедовой, и потому отчасти в родстве и между собою), или по крайней мере часто проживал подолгу, потому что мне нередко случалось, заходя по делам к Одоевскому, рано утром, и иногда притом и по два дня сряду, заставить за утренним чаем и Грибоедова вовсе не одетого, а в утреннем костюме.

На указанные в жизнеописании Грибоедова отношения его к Одоевскому, я и начну именно свои замечания. Мнение, что Одоевский мог «охранить страстного и порывистого Грибоедова от всяких уклонений в сторону», положительно ошибочно.

Такого влияния Одоевский никак не мог иметь по двум весьма важным и очевидным причинам. Во-первых, немного можно найти людей, способных так увлекаться, как увлекался постоянно Одоевский. Редко встречаются люди, так легко переходящие от восторженного удивления к самому язвительному порицанию, от дружбы к вражде и обратно, как это случалось с Одоевским, и очень часто без достаточного для того основания. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что в целом казематском обществе едва можно насчитать три, четыре человека (могу говорить беспристрастно, потому что был именно в числе их), которых Одоевский не задел бы своими эпиграммами, нередко весьма язвительными, как например, известная эпиграмма на А. З. М[уравьева]. Даже и те из наших дам, казематского общества, которых он же превозносил в восторженных стихотворениях, не избегли его эпиграмм при малейшем на них неудовольствии. Впрочем слишком известная неустойчивость Одоевского в идеях и в отношениях к людям засвидетельствована им самим в резком противоречии ответа на послание Пушкина и дифирамба на нахождение 1824 года в Петербурге, с одной стороны, с известным стихотворением «К отцу», с другой.

Понятно, думаю, поэтому, что человек до такой степени способный сам к увлечению, не мог охранять от увлечений других. Сверх того существовала и другая, самая естественная причина, почему Одоевский никак не мог быть ментором Грибоедова в Петербурге: Одоевский был еще дитя; в последний же приезд Грибоедова в северную столицу, в 1824 году, Грибоедов был уже вполне возмужалый человек, лет тридцати, достаточно уже опытный в жизни, тогда как Одоевский был все еще почти юноша, и притом едва только произведенный в корнеты из юнкеров, — следовательно, ни в каком отношении не мог иметь опытности, необходимой для руководства других.

Но Одоевский действительно сослужил добрую службу Грибоедову, хотя и по совету других, охранив его в одном, весьма важном для последствий отношении. Дело в том, что в продолжение долгого, восьмилетнего отсутствия Грибоедова из Петербурга, именно, сильнее нежели когда-либо до того, развилось в этой столице тайное общество, и в нем получили значение люди малоизвестные, и даже вовсе неизвестные Грибоедову. Вследствие этого понятно, что Грибоедов, человек увлекающийся и крайне неосторожный в выражениях, легко мог вдаваться в излишнюю откровенность даже с такими людьми, которые, при случае, могли выдать и Грибоедова, как выдали других. Вот от слишком интимных сношений и политических разговоров с такими людьми, указанными Одоевскому, он и предостерегал Грибоедова, верившего ему, зная его к себе привязанность, и не оскорблявшегося поэтому его советами, как легко мог по самолюбию оскорбиться, если бы советы подавал кто другой. Особенно важно было предостеречь Грибоедова от слишком откровенных политических рассуждений с теми из членов тайного общества, которые не славились ни скромностью, ни твердостью характера, но с которыми Грибоедову приходилось часто видаться по литературным отношениям, как например,

с Александром Бестужевым *. Это, действительно, и спасло впоследствии Грибоедова, потому что его близкие сношения были с такими только членами, которые ни одним словом не компрометировали ни его ⁷⁷, ни других, даже таких, на кого иные члены делали уж показания хотя и бездоказательные.

Странно мне также показалось в приложенном к собранию сочинений Грибоедова мнению Белинского, что рукопись «Горе от ума» начала будто бы ходить по рукам только с 1832 года (если это не опечатка: вместо 1823) ⁷⁸. Отправляясь в отпуск в приволжские губернии, с поручением от общества, в начале ноября 1825 года, я сам привез в Москву полный экземпляр, списанный мною еще весною того года, в числе других, на квартире Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова, даже с теми изменениями, которые он делал лично сам, когда ему сообщали, по его же собственной просьбе, некоторые замечания, особенно на те выражения, которые все еще отзывались как бы книжным языком. Я имею основание думать, что если и другой кто привез в Москву рукописи «Горе от ума», то мой экземпляр был, из всех привезенных туда, и самый полный и самый исправный.

В Москве остановился я в доме Ивана Николаевича Тютчева, супруга которого была родная сестра моей мачехи. Привезенным мною экземпляром «Горе от ума» немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович (известный поэт, с которым мы жили вместе в Петербурге у графа Остермана-Толстого) и Николай

А[лександр] Б[естужев], при первом же спросе ген. Левашовым, написал целый список имен, включив в число членов тайного общества даже и таких лиц, которых считал членами только по догадке, хотя они и не были ими. По такому валовому списку и были именно арестованы и я, как сказал мне сам ген. Левашов (при первом арестовании меня), и Грибоедов: но относительно его А. Б[естужев] не мог ничего представить кроме догадок ⁷⁶.

Иванович * (офицер гвардейского генерального штаба), а также и племянник Ивана Николаевича, Алексей Васильевич Шереметьев, живший у него же в доме (в Армянском переулке, где ныне заведение Горихвостова). Как скоро убедились что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самими грубыми ошибками и представляли сверх того значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли, между прочим, у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем Марьи Алексеевны ⁷⁹. Упомянувши же о ней скажу здесь, кстати, что тогда под именем князя Григория все разумели кн. П. А. В[яземского], слывшего за англомана. Это знал и он сам и смеялся над этим, когда мы, бывало, собирались у Оржицкого, у которого он обедал иногда, и где в его присутствии был также прочитан привезенный мною экземпляр «Горя от ума». Что же касается до Татьяны Юрьевны, то тут автор, действительно, разумел Прасковью Юрьевну К[ологривову], прославившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов.

С Николаем Ивановичем мы жили также вместе в доме кн. Александры Николаевны Волконской, пока гр. Остерман не заставил меня перейти к нему. Николай Иванович был очень дружен с Чевкиным, также офицером гвардейского штаба, почему Чевкин не только бывал у него ежедневно, но нередко и дежурил за него. Николай Иванович был довольно ленив по службе, и часто просыпал поутру, когда ему следовало в дежурство. В таком случае камердинер его обыкновенно посылался бегом к Чевкину—просить его отдежурить за Тютчева. Ответ был всегда один: «Согласен с тем, чтоб прислать за мной дрожки и был бы готов кофе».

Перехожу теперь к описанию нахождения Грибоедова в здании Главного штаба и к следствию над ним по поводу предполагаемого соучастия его в действиях тайного общества. Во всем этом описании почти все неверно, и одно предание явно несогласимо с другим. Полагаю, что всякому должно броситься в глаза резкое противоречие того, что будто бы он «прямо написал в ответе, что знал о том, что делается, знаком был с тем или другим лицом», — с далее сообщаемым рассказом, что он же, по совету, в комитете ⁸⁰, какого-то важного лица, во всем заперся и написал: «Знать ничего не знаю, и ведать не ведаю!» Правда, в двух этих рассказах, очевидно почерпнутых из двух разных преданий, лежит в основании кое-что и действительно происходившее, и только все отнесено не к тому месту, где происходило, и не к тому лицу, которое старалось подействовать на Грибоедова, чтобы заставить его изменить предполагавшееся-было первоначальное показание.

В действительности же вот как происходило все дело: все арестованные позже, как Грибоедов и я (при втором арестовании меня), когда крепость была уже битком набита, помещались предварительно в здании Главного штаба, в котором, во время нашего там пребывания с Грибоедовым, перебивали таким образом: генерал Кальм, граф Мошинский, Сенявин (гвардейский полковник, сын адмирала), братья Раевские, князь Баратаев (симбирский губернский предводитель дворянства), полковник Любимов (командир Тарутинского полка), князь Шаховской (сосланный потом на поселение в Сибирь и там помешавшийся) и др. Затем, смотря по тому, что окажется по исследованию, подтверждались или нет показания, по которым были арестованы привозимые в Главный штаб, их или переводили в крепость, или выпускали на свободу, а в случае наложения дисциплинарного наказания (перевода из гвардии в армию, посылки на Кавказ, временного заключения в какой-либо крепости и т. п.) отправляли туда, куда было назначено.

Для содержащихся в Главном штабе отведено было помещение в комнатах, предназначенных для тогдашнего пачальника штаба первой действующей армии Толя, на случай приезда его в Петербург, что бывало часто. Сначала наше помещение состояло из одной только длинной комнаты, в роде залы, служившей, конечно, Толю приемной, и небольшой прихожей, в которой стоял часовой; но когда число арестованных умножилось, то к зале прибавили еще очень небольшую комнату, служившую, судя по мебели, и кабинетом и спальней Толю, и в ней-то поместили и меня и Грибоедова, а иным (как напр., Кальму, Мошинскому и др.) дали потом совсем отдельное помещение.

Надзор за ним был, действительно, поручен тому лицу, как показано в разбираемом жизнеописании Грибоедова, т.-е. армейскому офицеру Ж[уковском]у, но совершенно ошибочно мнение, будто бы источником деланных им послаблений Грибоедову (прибавим, и всем другим в той же мере) было уважение к произведению Грибоедова. Напротив, вначале наш надзиратель очень стеснял всех без различия, и Грибоедова в том числе, и, вероятно, к этому-то времени и относится показание, что Грибоедов ссорился с надсмотрщиком. Переменной же в отношениях надзирателя к нам мы обязаны исключительно полковнику Любимову. Произошло это таким образом, по рассказу мне самого Любимова: почти одновременно привезены были и Любимов и кн. Баратаев; но между тем как Баратаев, рассчитывая, вероятно, на то, что уж о каждом его действии непременно будут доносить, требовал себе постной пищи (это было Великим постом) и твердил надзирателю, что привык соблюдать все посты, полагая, что это будет иметь влияние и на Ж[уковско]го и на следователей, Любимов как опытный служака взялся за дело более «практическим» способом * Сообразив, что Ж[уковский]

* Подобный способ употребляли с успехом и другие. Так одна дама, сын которой находился уже в крепости, убедила таким

должен быть не богат и не имеет ходатаев, если живя в Петербурге, служит не в гвардии, и порасспросив кое о чем, Любимов вдруг озадачил его следующим предложением: «Ты, брат (надо сказать, что Любимов, как и многие другие старые полковые командиры, например Аврамов, Тизенгаузен и др., находившиеся даже в крепости, чрезвычайно импонировали тем, что ко всем обер-офицерам обращались так, как привыкли обращаться к ним в своем полку; и такова сила общей привычки и влияние названия «полковой командир», что и Ж[уковский] в штабе и плац-адъютанты в крепости находили это вполне естественным и не думали обижаться), ты, брат, как я вижу, не богат ни средствами, ни протекцией, а можешь иметь и то и другое, если сумеешь воспользоваться случаем, оказывая услугу тем значительным лицам, которых привела судьба под надзор к тебе. Для начала сделай вот что я тебе скажу: вот тебе записка к графине А[нне] И[вановне] К[оновницыной] (зять ее [Нарышкин] служил у Любимова в полку, в который переведен был из старого Семеновского полка, при раскассировании сего последнего); по этой записке ты получишь десять тысяч рублей. Сколько из этого ты дашь другим, сколько останется у тебя, — мне до этого нет дела! Ты конечно знаешь, у кого в следственной комиссии хранятся заарестованные у нас вещи и бумаги, и должен из моего портфеля вынуть такой-то запечатанный пакет и привезти его мне. Рассмотреть мои бумаги в комитете никоим образом не могли еще успеть: это я вижу из вопросных пунктов; а потому вы мне и не говорите, что будто бы вы не нашли пакета или что вы истребили его там; он должен быть передан мне на-руки».

способом одного плац-адъютанта, чтобы он уговорил всех сделавших на ее сына немаловажные показания отказаться от них на очных ставках. Так и было сделано; и вследствие этого сын ее, вместо того, чтобы попасть в один из высших разрядов, в который попали его товарищи, одинаково с ним замешанные по делу, отделался одним дисциплинарным штрафом.

Как было сказано, так было и сделано. Любимов истребил компрометировавшие его бумаги и отделался, кажется, шестимесячным арестом.

Понятно, что после этого наши отношения к Ж[уковском]у должны были перемениться, так как не Любимов уже был от него в зависимости, а наоборот. Но ослабление относительно одного лица неизбежно влекло послабления и для других, а отступление от инструкции в одном вело к отступлению и в другом, так что Ж[уковский]й попал, наконец, в полную зависимость от нас во всем. Впрочем, он благодушно подчинился этому новому своему положению и тем охотнее, что ему дали честное слово, что заключенные не позволят себе ничего, что в политическом отношении могло бы его компрометировать (как например, побег, опасные сношения, или переписка, и т. п.). Мало-по-малу Ж[уковский]й сам так втянулся в новое направление, что скорее мы уже должны были напоминать ему о необходимой осторожности, чем он нам. Благо никто его не ревизовал, да никто из комитета к нам и не входил, потому что все бумаги к нам из комитета и от нас туда шли через Ж[уковского], а если кого требовали в комитет, то и об этом извещали его же накануне, — то и дошло до того, что даже часовые превратились в нашу прислугу. Мы, обыкновенно, запирались изнутри на ключ, а часовой ставил ружье в угол, снимал кивер, суму и мундир, надевал шинель и фуражку и отправлялся за покупками, за обедом, за книгами и пр. Наконец, Ж[уковский]й этим не ограничился. Смелость его росла не по дням, а по часам. Не видя никаких дурных для себя последствий от установившегося порядка, он пошел далее, но не для нашего уже облегчения, а чисто для своего удовольствия. Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано, Ж[уковский]й как любитель музыки стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. Водил он впрочем не в самую кондитерскую, а в небольшую комнатку,

примыкавшую к ней и вероятно принадлежавшую к помещению хозяина, с которым Ж[уковский] был, повидимому, коротким приятелем, потому что, заказывая угощения (разумеется на наш счет), он не пускал к нам никого из прислуги кондитерской, а что было заказано, приносил или сам, или хозяин. В этой комнатке стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Ж[уковский] слушал его, а я читал газеты.

Об этих наших путешествиях не знал, однако же, никто даже из наших товарищей по заключению, потому что Ж[уковский] боялся, чтоб не стали проситься в кондитерскую и другие; все думали, что он уводит нас играть в шахматы в свою комнату, которая была смежною с нашей и дверь которой он всегда запирает на ключ, даже когда входил к нам. Раз, однако ж, случилось, что такое путешествие могло кончиться очень неблагоприятно, если бы нечаянный свидетель его был менее доброжелателен и скромен. Мы, обыкновенно, ходили к Лореду не по Адмиралтейской площади, что было бы ближе, а проходили под арку Главного штаба, затем шли по Невскому проспекту и входили в упомянутую выше комнатку через внутренний двор, а не с парадного входа в кондитерскую. И вот, однажды, проходя именно под аркой, по одной стороне, мы встретились с идущим по другой одним самым близким моим знакомым гвардейским офицером [Павлом Николаевичем Игнатьевым]. Увидев меня, он остолбенел, но я сделал вид, что не замечаю его, и, только выходя уже из-под арки, я оглянулся и увидел, что он поворотил назад и, сделавши несколько шагов за нами, остановился, развел руками и затем, постояв немного, снова поворотил и пошел прежней своей дорогой. Впоследствии я узнал, что этот знакомый, занявший потом одно из самых высших мест в государстве⁸¹, рассказал было близким мне людям, что должно быть меня освободили, потому что он меня встретил, но так как мое

освобождение не подтвердилось, то говорил, что он, вероятно, обознался, и что, действительно, встретил человека как две капли воды похожего на меня ⁸².

Относительно ответов комитету, совершенно несправедливо, что Грибоедов изменил свое признание на записательство, по совету какого-то важного лица в комитете. Этого не могло быть уже и потому, что бумаги никогда не писались в комитете, что иначе отняло бы у него, разумеется, слишком много времени. Порядок относительно допросов был в комитете таков: запросные пункты посылались в запечатанном пакете туда, где содержался обвиняемый, будь это в здании Главного штаба, в крепости, или даже в Алексеевском равелине; ответы шли также в запечатанном пакете, который вскрывали в полном заседании комитета; и тогда, если не находили их удовлетворительными, то призывали обвиняемого в комитет для очных ставок, для указания противоречий в показаниях или недостаточных пояснений, и в таком случае все, что говорилось в комитете, тут же и записывалось в протокол, и, разумеется, не самим уже обвиняемым. Таким образом никто в комитете не мог ни видеть, ни знать, что пишет обвиняемый до вскрытия его пакета и прочтения его ответов в полном присутствии комитета и, следовательно, никто не мог ни предупредить, ни остановить Грибоедова.

Дело было гораздо проще и естественнее. Грибоедову помог в этом случае тот же полковник Любимов, который и многим давал полезные советы, охотно выслушиваемые, как идущие от весьма опытного и доброжелательного человека. Поводом же к вмешательству Любимова было следующее обстоятельство: братья Р[аевские] сбили с толку многих своими рассказами, что для того, чтоб скорее и лучше отделаться, чтоб избежать неприятности проволочки следствия и риска предания суду, надобно, главное, доказать свою откровенность, и основывали это на собственном будто бы примере и на примере других очень известных лиц (кн. С[уворов], кн. Л[опухин] и др.),

которые, как говорили тогда, за полное признание получили полное прощение. Но братья Р[аевские] не сообразили, что во всех приводимых ими примерах решительное влияние на прощение имели совсем иные причины. Как бы то ни было, но только, вследствие этих рассказов братьев Р[аевских], некоторые лица (как например, Ф... Т... Г...) наговорили сами на себя всякой небылицы в доказательство откровенности, что, конечно, не послужило им в пользу. Между тем Любимов заметил, что и на Грибоедова вышеупомянутые рассказы братьев Р[аевских] произвели большое впечатление, а потому, когда Грибоедову принесли вопросные пункты, и он стал писать черновой на них ответ, то Любимов, подойдя к нему, сказал:

— Вы знаете, что все, что вы ни напишите, до меня нисколько не касается, потому, что у нас с вами не было по обществу никаких сношений. Поэтому я и могу давать вам советы совершенно беспристрастные. Я только желаю предостеречь вас, потому что заметил, из ваших же рассуждений, что рассказы братьев Р[аевских] не остались без влияния и на вас и что, кроме того, вы готовы на все, лишь бы как-нибудь избавиться томительной скуки, которая предстает вам в нашем положении. Я знаю из всех наших здешних разговоров, что действия относительно комитета предполагаются различные, смотря по разным у всякого соображениям — и личным, и политическим. Не знаю, какой системы намерены держаться вы, но ум хорошо, а два лучше. Не по любопытству, а для вашей же пользы я желал бы знать, на какой системе вы остановились. Помните, что первые показания особенно важны...

В ответ на это, Грибоедов прочитал ему то, что успел уже написать. Прислушав написанное, Любимов с живостью сказал ему:

— Что вы это! Вы так запутаете и себя и других. По-нашему, по-военному, не следует сдаваться при первой же атаке, которая, пожалуй, окажется еще и фальшивою; да если поведут и настоящую атаку, то все-таки надо усту-

пать только то, чего удержать уж никак нельзя. Поэтому и тут гораздо вернее обычный русский ответ: знать не знаю и ведать не ведаю! Он выработан вековой практикой. Ну что же? Положим, что вам докажут противное; да разве и для судей не естественно, что человек ищет спастись каким бы то ни было образом? Хуже от этого не будет, поверьте! А не найдут доказательств, — вот вам и всем хлопотам конец. Вот вам и мой собственный пример: хорош бы я был, если бы сначала так-таки и бухнул признание, а у меня еще были захвачены и опасные бумаги. И на кой чорт берег я письма П[естеля?]. Но я из вопросных пунктов увидел, что до моих бумаг еще не добрались; доберутся — знаю, что будет плохо, но все же от отсрочки хуже не будет; и потому на первый случай лучше сказать: знать не знаю! А там, на счастье попытаться выручить опасные бумаги. Ну, и вышло отлично; а теперь пусть и обвиняют в том только, что был знаком с П[естелем?]. Ну что ж? Да, был знаком! да как и не стараться быть знакомым со всеми полковыми командирами!.. Сношения по службе беспрестанные, часто щекотливые, а при знакомстве все идет гораздо легче, как спишешься частным путем.

Не знаю, насколько подействовали подобные убеждения на Грибоедова, и вследствие ли их, как думал Любимов, или по каким-либо другим соображениям, но только, по словам Любимова, Грибоедов, после разговора с ним, изорвал написанную-было черновую ⁸³.

Говорят также, что Грибоедова «выгораживал» будто бы Ивановский. Никак не могу понять, каким образом это могло быть. Ивановский и Бруевич были чиновниками канцелярии следственной комиссии, но и за ними самими строго наблюдал обер-аудитор (по фамилии, кажется, Попов). По крайней мере, я знаю случай, что, когда Ивановский, оставшись с одним обвиняемым, приведенным на очную ставку и ожидавшимся в канцелярии, пока члены комитета пошли закусывать (закуска была от двора),

выдумал было вступить в разговор с этим обвиняемым, то обер-аудитор немедленно и резко сказал ему, что он не имеет права разговаривать с находящимися под следствием, и пошел ту же минуту доложить о том членам комиссии. Тот же час пришел Чернышев⁸⁴, произошла весьма бурная сцена, и Ивановскому пришлось оправдываться.

Показаний других против Грибоедова, если они были, Ивановский также не имел возможности скрыть, так как пакеты распечатывались в заседании комитета, и, следовательно, все показания становились известными членам комитета или комиссии, прежде чем отдавали их в канцелярию.

Другое дело сами члены комитета; они действительно могли оказывать содействие кому хотели, выгораживать кого нужно или приказано было. Я знаю от своих товарищей, что, когда в показаниях, необходимых даже по ходу дела, касались некоторых лиц, близких членам комитета, или таких, которых нужно или приказано было по какому-либо расчету щадить, то делавшему показание обыкновенно говорили: «вас об этом не спрашивают», и этих показаний не записывали в протокол, как бы важны они ни были даже для разъяснения всего дела. Кроме того, когда я находился уже в крепости и до перевода в Алексеевский рavelин был помещен в одном отделении с М[ихаилом] Ф[едоровичем] О[рловым], то брат его, бывший в дружбе с членами комитета и занявший впоследствии один из важнейших постов в государстве, всякий раз, когда арестованному следовало получать вопросные пункты или быть призываемому в комитет, приезжал к нему и говорил, о чем будут спрашивать, и что следует отвечать. И нет сомнения, что на окончательное решение и о Грибоедове имело сильное влияние и у членов комитета, и даже выше, заступление, хотя и тайное, Паскевича, получившего уже в то время большое значение.

Что же касается до роли, какую играла в следственном деле комедия Грибоедова, то, действительно, возвратясь

однажды от допроса в комитете, Грибоедов сказал нам, что его «мучили», доказывая ему, на основании комедии, что он был также членом тайного общества и что он, на том же основании, доказывал противное; но как он у допроса провел в тот раз очень короткое время, и притом допрашивали его, сверх того, и о более важных вещах, то, очевидно, Грибоедов, выражение «мучили» употребил только в шутку, и что о комедии речь шла только мимоходом, как бы вводным только эпизодом. К тому же осмеяние Репетилова не могло иметь тогда в глазах следователей такого значения, какое ему приписывают, по той причине, что комитету очень хорошо было уже известно, что именно-то самые серьезные члены общества и восставали сильнее всех против Репетиловых.

В заключение должно заметить, что совершенно ошибочно также и то мнение, будто и товарищи и высшие лица искали спасти Грибоедова как гениального писателя, как «будущую надежду России». Ничего подобного в ту эпоху не было. Для современников молодости Грибоедова и Пушкина они были совсем иные люди, чем для следующих поколений, которые смотрят на них сквозь призму последующих разъяснений их произведений и действий и еще чаще судят на основании позднейшей уже их деятельности. Как смотрели на Грибоедова в то время высшие люди, выразил и сам Грибоедов впоследствии в письмах с Кавказа ⁸⁵, хотя значение его как писателя и как полезного служащего (если еще и не государственного деятеля) выразилось уже в то время гораздо более, нежели в 1824 и 1825 годах. Что же касается до людей обычного его круга, равного с ним общественного положения, то в этих годах Грибоедов был для них все еще человек, принесший из военной жизни репутацию отчаянного повесы, дурачества которого были темою множества анекдотов, а из петербургской жизни — славу отъявленного и счастливого волокиты, наполнявшего столицу рассказами о своих любовных похождениях, гонявшегося даже

и за чужими женами, за что его с такой горечью и настойчивостью упрекал в глаза покойный Каховский *. Известно, что даже «Горе от ума» было тогда принято не в том значении, какое придают этому произведению в настоящее время. Оно сделалось популярно, как было популярно тогда всякое осмеяние чего бы то ни было в тогдашнем порядке вещей (свидетельством служит множество пародий на известные произведения, сделавшиеся даже более любимыми и известными, чем самые произведения), что было очень на руку всеобщему либеральному направлению, и как богатое собрание сатир и эпиграмм, дававшее всем возможность задевать разных лиц безответственно, высказывая чужими словами то, чего не решился бы никто высказать как собственное суждение, не рискуя заплатить за то ответственностью; и надо признаться, что число людей, и притом вовсе не либеральных, радовавшихся появлению комедии для употребления ее в смысле возможности приложения сатиры к известным лицам, было несравненно больше, чем видевших в ней какой либо гражданский подвиг, да едва ли такие и были.

В старании товарищей не компрометировать Грибоедова не было также ничего особенного, исключительного. Это было лишь следствием наперед условленного, общеприятного правила стараться не запугивать никого, кто не был еще запуган, а если сам Грибоедов не говорил о сношениях с членами, имевшими особенное значение, то говорить об этих сношениях значило бы добровольно

Каховский погibший преждевременно так несчастно и притом, по убеждению товарищей, может быть только вследствие грустного недоразумения (ему приписали то, что легко могло быть делом и другого), был один из самых искреннейших и самых неуклончивых людей, который в числе очень немногих других не задумывался упрекать в глаза и Рыжеева за его властолюбие, по которому он старался окружать себя бездарностями и стремился устранять влияние людей истинно даровитых, в которых боялся найти соперников.

и без нужды выдать самого себя. Кроме того, как объяснено выше, он, к счастью его, был во время огражден от сношений с нескромными членами. В силу подобных же условий, спасены были и многие другие члены, даже такие, которые были замешаны и посильнее, чем Грибоедов. Наконец, кроме несомненного заступничества Паскевича, Грибоедову благоприятствовали еще и следующие два обстоятельства: он не был в Петербурге в конце 1825 г.; а в тех близких отношениях, в каких он находился к Одоевскому и другим членам общества, никто с уверенностью не мог сказать о себе, на что бы он решился, если бы присутствовал в Петербурге ⁸⁷, как о том откровенно сознался пред высшим лицом и Пушкин, даром что Пушкин даже не был членом общества, хотя и ждал им быть, но его не принимали, зная его неустойчивость (*versatilité*).

Другое важное обстоятельство заключается в том, что, как это сообщено уже в разбираемом жизнеописании Грибоедова, Ермолов, предупредив его об аресте, дал ему возможность истребить компрометирующие его бумаги, в которых несомненно было не мало опасного для Грибоедова, в том числе кое-что из собственных его произведений, судя по тому что многие не раз слышали от него. Некоторые из его [не?]напечатанных стихотворений не уступали, напр., в резкости пушкинским стихотворениям известного направления. Здесь кстати сказать, что, впрочем, и не один Ермолов так поступил. Лица, поставленные и выше Ермолова, делали для других то же самое, что, сделал он для Грибоедова. Так, напр., вел. кн. Константин Павлович не только предупредил Лунина, но еще долго его отстаивал, давая тем ему возможность истребить все, что, по собственным словам Лунина, могло сильно компрометировать не мало и значительных лиц, из которых иные отличались даже крайними мнениями.

Мнение, будто бы известный Ф[аддей] Б[улгарин] не считался тогда еще таким, каким его считали впоследствии,

приводимое в жизнеописании Грибоедова для оправдания его относительно сношений его с Б[улгариным], никак нельзя признать справедливым. Не входя здесь в разбирательство, насколько основательно было вообще мнение о Б[улгарине] и когда он был лучше, когда хуже, я могу сказать только одно, — что ни за что так не упрекали Грибоедова, люди даже близкие ему, как за сношения его с Б[улгариным], и это всегда задевало заживо Грибоедова. Относительно других предметов Грибоедов хотя вообще и рассуждал часто горячо, но не доходил никогда до раздражения; только когда осуждали его связь с Б[улгариным], или когда Каховский доказывал ему, что, осуждая у ложных либералов противоречия их действий с провозглашаемыми принципами, Грибоедов и сам не свободен от подобного противоречия, — можно было видеть, что Грибоедов чувствовал, что его кольнули в самое больное место. Трудно также понять, к какому времени можно отнести разрыв его с Б[улгариным] за излишнюю похвалу, о которой говорится в жизнеописании ⁸⁸. Помнится, что и после вторичного отъезда своего в Грузию он все еще посылал письма в «Северную Пчелу» и что даже писал комплименты Б[улгарину] относительно его «Выжигина» ⁸⁹. Одоевскому посылали все, что печатал Грибоедов впоследствии, и мне помнится, что об этом был у нас и разговор с Одоевским.

Остается пояснить еще два факта: наблюдения в Киеве и в Крыму, относящиеся к русской истории, были деланы Грибоедовым по просьбе Петра Александровича Муханова ⁹⁰, постоянно и специально занимавшегося (даже и впоследствии, в каземате) исследованиями относительно древней русской истории; это сказывал мне сам Муханов; а что касается до курса математики «Франкера», о присылке которого просил Грибоедов во время заключения его в штабе ⁹¹, то это потому, что, сознавшись мне, что он не очень силен в математике, и зная, что я был преподавателем высшей математики и астрономии в морском кор-

пуге, Грибоедов просил меня, чтоб я «от скуки» занялся с ним математикою.

Я мог бы сообщить еще многое о Грибоедове как потому, что не мало сам был свидетелем, так и потому, что не мало слышал от Одоевского, который беседовал о нем со мною чаще чем с другими, зная, что мне многое и без того уже известно; но я положил себе ограничиться здесь замечаниями только на то, что изложено уже в разбираемом мною жизнеописании Грибоедова.

В заключение скажу, что из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор ни одного, который напомнил бы мне остроумную физиономию автора «Горе от ума»; по крайней мере того Грибоедова, каким я знал его в 1824 и 1825 годах.